

С. Апт о себе и других
Другие — о С. Апте



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2011

УДК 80/81
ББК 83
А 76

Издание осуществлено при финансовой поддержке Института им. Гёте (Москва)
и Австрийского культурного форума (Москва),
а также благодаря участию
доктора наук, профессора *Дирка Кемпера*
и доктора наук, профессора *Нины Павловой*

С о с т а в и т е л ь: *Екатерина Старикова*
Р е д а к т о р: *Лариса Казарьян*

*Семья С. К. Апта выражает глубочайшую признательность
всем авторам, принявшим участие в сборнике*

А 76 С. Апт о себе и других. Другие — о С. Апте: Сб. воспоминаний, статей, интервью / Сост. Е. Старикова. — М.: Языки славянской культуры, 2011. — 256 с.: ил. — *(Вклейка в конце книги.)*

ISBN 978-5-9551-0488-1

Книга посвящена памяти выдающегося переводчика Соломона Константиновича Апта (1921—2010). Благодаря его таланту русский читатель открыл для себя тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья», «Игру в бисер» и «Степного волка» Германа Гессе, Франца Кафку, Роберта Музиля и Элиаса Канетти. Начав свою деятельность с переводов античной литературы, С. К. Апт дал возможность современникам прочесть по-новому таких авторов, как Эсхил, Аристофан, Платон.

В издание входят очерки самого переводчика о людях, которых он знал, воспоминания о нем, беседы журналистов с С. К. Аптом в последние годы его жизни, статьи о его работе. Надеемся, что сплав многих жанров позволит создать представление о личности и жизни переводчика.

ББК 83

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0488-1

© Е. В. Старикова, 2011
© Языки славянской культуры, 2011

Памяти С. К. Апта

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Сергей Бочаров.</i> Мир С. К. Апта	7
<i>Соломон Апт.</i> Классическая филология	10
<i>Соломон Апт.</i> Черным по белому	39
<i>Соломон Апт.</i> Годовая стрелка. О Борисе Слуцком	49
<i>Наталья Громова.</i> Запись видеointервью с С. К. Аптом 27 сентября 2009 года	68
<i>Екатерина Старикова.</i> Некоторые подробности из частной жизни С. К. Апта	91
<i>Борис Рунин.</i> Из «Записок случайно уцелевшего»	132
<i>Григорий Дашевский.</i> Покой абсолюта	135
Письмо Виктора Шкловского	137
Письмо Эрики Манн	139
<i>Борис Сучков.</i> Новые члены Союза писателей	140
Письмо Петра Мамрадзе	142
<i>Анна Шибарова.</i> «Не счетом, а весом...»	144
<i>Елена Калашикова.</i> «Переводить текст близкого тебе писателя все равно что говорить с хорошо знакомым человеком»	160
Письма Михаила Гаспарова	174
<i>Виктор Топоров.</i> Мертвая зона	180
<i>Андрей Анпилов.</i> Кроткая сила вещей	189
<i>М. Рудницкий.</i> «Чудесные случаи претворения...»	192
<i>Любовь Сумм.</i> «Если по сердцу тебе имя»: переводы Эсхила . .	200

<i>Анка Максайн, Кристина Нисмак. Соломон Апт:</i>	
«Мною движет восхищение»	213
<i>Александр Иличевский. Возможная невозможность перевода . .</i>	219
<i>Из письма Геннадия Трифонова Е. В. Стариковой</i>	221
<i>Мария Терещенко. «Теории перевода — это от лукавого»</i>	222
<i>Эмиль Казанджан. Наш общий друг —</i>	
переводчик С. К. Апт	230
<i>Санджар Яньшев. «К счастью, случился юбилей</i>	
Аристофана»	233
<i>Ольга Канунникова. «Я сам рассмешиваться рад...»</i>	240
<i>Борис Хлебников. Вспоминая о Соломоне Апте</i>	248
<i>Список литературных работ С. К. Апта</i>	250

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ

МИР С. К. АПТА

С Соломоном Константиновичем я не был знаком, но читаю его полвека. Я читаю Томаса Манна, Гессе и Музиля, которых он нам подарил, но я читаю Апта. И теперь, когда мы его вспоминаем, хочу отдать себе отчет в том, что он нам оставил и словно собрал под скромным именем переводчика — собрал для нас по-русски — целый мир немецкой классической прозы XX века, отборную, лучшую его часть. Мне кажется, я могу оценить и личные основания этого отбора и даже почувствовать единый авторский почерк переводчика.

Начиналось это в 1960-е с десяти томного русского Томаса Манна. Мы тогда читали его целиком, том за томом, и два последние тома манновских мыслей тоже насквозь: за «Доктором Фаустусом» следом «Историю “Доктора Фаустуса”. Роман одного романа». Помню, в этом последнем на меня произвело впечатление сообщение автора, что он начал писать «Доктора Фаустуса» в тот же день, что и принялся за работу внутри романа его рассказчик Цейтблом. Этой общей датой Манн отождествился с рассказчиком и обрел возможность строить повествование в двух временах — о котором (до 1940 года) и в котором (1943—1945) рассказывает. А в «Романе романа» (1949) он присоединяет к ним свое настоящее, третье время, где фоном повествования служит совершающаяся большая история: падение гитлеровской Германии и завершение мировой катастрофы, и пишется это уже с мыслью о национальном и европейском будущем.

«Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья», «Игра в бисер», «Человек без свойств» — вот мир одного переводчика для рус-

ского читателя, для меня. Все это крупные вещи, и удивительно узнать, озаботившись сравнительной хронологией, что они возникли за какие-то двадцать лет немецкоязычной литературы в острейший для страны период (с середины 1920-х до середины 1940-х). Основным своим делом переводчик избрал литературу этого времени, он хотел передать его нерв. Перевод — переход через бездну, переводчик — проводник, как Вергилий при Данте — такова философия перевода Владимира Николаевича Топорова, философия, позволяющая оценить дело С. К. Апта в русской культуре.

Мир Апта — авторский мир, чье единство не только единство эпохи, которую переводчик сделал своей, как через бездну, перевел нас в нее. Это и сложное единство поэтическое, языковое, стилистическое, в котором постоянно надо ориентироваться. В том числе в тонком напластовании времен — оно у Апта всюду, не только в «Фаустусе». Как слоятся библейская история в «Иосифе», временные слои один в другом отражаются, повторяются и предсказываются один в другом. За Иосифом и его братьями просвечивают не только история Иакова, но и жертвоприношение Авраама, и первоначальный райский сюжет. «Игра в бисер» совершается в утопическом будущем, но за гибелью Иозефа Кнехта следует параллельное жизнеописание его прообраза, тоже Кнехта, в доисторическом прошлом. Многослойный параллелизм — он всюду. «Игра в бисер» — утопия, обращавшая наши взоры тогда, когда мы читали, в наши 1970-е, в сторону набиравшего силу структурализма.

Но утопия и огромная конструкция Музиля, где утопический замысел записан прямо в заглавии. Парадокс заглавия побуждает над ним задуматься и принять утопическую идею человека без свойств. Вкус к утопическому сюжету соединяется в этом авторском мире с особым вниманием к повторениям человеческих существований и исторических положений, к самому состоянию повторения, со вкусом к круговоротам времен, а также с любовью к проникающей жизни музыкальности, к самой музыке как уни-

версальной стихии. Таких описаний музыкального произведения литературным словом, как описание леверкюновского плача-кантаты, я больше в литературе не знаю.

«Для художника мысль как таковая никогда не является самодовлеющей ценностью и собственностью. Ему важна только ее действенность в интеллектуальном механизме произведения». Это вновь из «Романа одного романа» в переводе С. К. Апта. Кажется, эта мысль художника стала и убеждением переводчика.

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

С отделением классической филологии МГУ моя жизнь была связана целых семь лет. Я говорю «целых», хотя сегодня, через полвека с хвостиком, этот срок не кажется мне таким уж большим. Но, мысленно переносясь в те годы, я вижу себя то студентом, то аспирантом, — теперь эта разница совершенно не важна, важно, что молодым человеком, — а в молодости не то что год, а какая-то одна зима, какое-то одно лето — уже эпоха.

Я и сейчас могу представить себе лица и голоса многих педагогов и служащих филологического факультета той поры, всего факультета, не только своей кафедры. Могу описать узкие, темноватые коридоры старого здания на Моховой, холодные, то и дело перегораживаемые фанерными стенками комнаты, мысленно увидеть и услышать покрикивающего визгливым фальцетом, но в общем-то симпатичного замдекана А. К. Петрова, двух секретарш — спокойную и доброжелательную Серафиму Ивановну и резковатую, властную Татьяну Никандровну, скромнейшего кассира Алексея Ивановича, прилепившего однажды к окошку своей конурки листок с незабываемым оповещением: «Ушел в банк. А когда вернусь?» И ходивших по этим коридорам знаменитых профессоров — величественного Виноградова, не расстающегося с тубетейкой Благого, энергичного, подвижного Гудзия, медлительного Леонида Гроссмана.

Этих людей знали в лицо, наверное, все, кто учился на филологическом факультете в одно время со мной. Из «классиков» же популярнее остальных был, несомненно, Сергей Иванович Радциг.

Неудивительно. Он читал лекции по античной литературе и для русского, и для западного, и для славянского, и для искусствоведческого отделений, читал еще в довоенном ИФЛИ, а может быть, и в эвакуации в Свёрдловске (так, с ударением на первом слоге, произносил он тогдашнее название Екатеринбурга). Но главная причина его популярности была не в беспримерном количестве слушателей, а в экстравагантности его манеры чтения. Цитируя Гомера, он пел на лекциях. Он не просто пел стихи, а приходил при этом в восторг. Его глаза не то чтобы вспыхивали, а начинали светиться матовым светом, как экран мобильного телефона, и делались похожи на невидящие глаза древних бюстов, а седая борода начинала дрожать. На первокурсников, для которых сама античная литература была открытием Америки, это производило неизгладимое впечатление.

Я думаю, что в сталинское время вообще и в годы постановлений ЦК о литературе, музыке, театральной критике в частности такой популяризаторский пыл Сергея Ивановича, который и думать не думал фрондировать, приобретал и более важный смысл, чем удивление и обеспеченное внимание аудитории. Студенты получали на его лекциях какую-то гуманистическую прививку. В его наивных распевах таилась какая-то вакцина сопротивления поветрию лжи. И одно это было очень большой заслугой Радцига. Но он не исчерпывался популяризаторским энтузиазмом. Радциг был настоящим знатоком греческого языка, терпеливым и опытным педагогом. И, заведя кафедрой классической филологии, исполнял эту роль с великим тактом. Он не пресмыкался перед начальством, не плел интриг, не разводил склок, что стало особенно очевидно после того, как председательское место на заседаниях кафедры занял другой.

У Сергея Ивановича была одна маленькая слабость, которая и тогда, когда я был его студентом, умиляла меня, хотя однажды могла дать мне повод для огорчения. Его любовь к поэзии не удовлетворялась таким действительно оригинальным и смелым выходом в мир, как пение на лекциях, а стремилась вылиться в переводы

стихов. В своем довоенном еще учебнике он хотел дать цитаты из древнегреческих поэтов в собственных переводах, но редакторы воспротивились, и Сергей Иванович отстаивал свое право печатно оговорить в примечании, что переводы автора учебника заменены по настоянию редакции уже существующими. Наверное, это примечание, напоминающее общеизвестный пассаж об унтер-офицерской вдове и прочитанное мною задолго до личного знакомства с Сергеем Ивановичем, было для меня уже достаточной подготовкой, чтобы не обидеться и даже не очень-то огорчиться, когда он как научный руководитель моей дипломной работы попросил меня не прилагать к реферату о Феогниде моего перевода 1381 строки его дошедших до нас элегий. Огорчился я разве только оттого, что рухнула моя тайная надежда избавиться себя этим трудоемким переводом от писания скучного реферата на весьма скудном материале. Но обиды не было во мне ни капли, наоборот, я был умилен и польщен, когда в отзыве о моем, я уверен, темном и вялом докладе Сергей Иванович назвал меня «серiousным молодым ученым». Да, именно так, не «серьезным», а «серiousным». Правда, с современным «и», а не с «і».

Но путь к греческим текстам начался для меня, как ясно каждому, кто соприкасался с классической филологией, не с Гомера, Софокла, Платона, а с грамматики, с морфологии, которую мы, по примеру дореволюционных учеников, называли этимологией и в которой главенствовали глаголы, и синтаксиса, после чего следовал Ксенофонт с «Анабасисом» и «Воспоминаниями о Сократе». А читать по-гречески мы учились по старым гимназическим хрестоматиям, по фразам, подобранным или придуманным с педагогической хитростью, с какой-нибудь прикладной целью, чтобы там попался на первых порах какой-нибудь дифтонг, затем какие-нибудь нужные образцы склонения или спряжения, затем всяческие неправильности и т. д. и т. п. Эти первые пробы чтения поразили меня и запомнились навсегда. В немудреных, сочиненных, может быть, для детей и подростков, может быть, какими-нибудь братьями чеховского Беликова фразах встречались обобщения, которые

могли казаться вечными истинами, опытом древних мудрецов и своей бесхитростной простотой разительно отличались от тех выморенных, вымоченных в идеологическом маринаде текстов, какие каждый студент-гуманитарий должен был заглывать изо дня в день. Вот, например (здесь в русском переводе): «Вечер приносит спокойствие», или «Старухи болтливы», или «Мы любим правду и дружбу». Хотя прекрасно знаешь, что спокойствия вечер может не принести и вообще утро вечера мудренее, что старухи бывают немногословны и замкнуты, а уж насчет любви к правде... — подобные фразы могут быть обаятельны своим наивным позитивизмом, который человечнее навязших в ушах непререкаемых догм.

Но грамматикой занимался с нами не Радциг, хотя и он пережегал чтение авторов грамматическими, так сказать, разминками. Он вызывал нас поочередно, и вызванный спрягал, скажем, какой-нибудь замысловатый глагол сразу, например, в сослагательном наклонении, стараясь не осрамиться перед учителем и коллегами.

Нашей преподавательницей грамматики была Жюстина Севериновна Покровская. Читать Ксенофонта мы тоже начали с ней. В одной группе со мной учился муж ее дочери, а сама Наташа — на том же курсе, что мы, только на другом отделении — западном. Это, конечно, сближало Ж. С. с ее молодыми слушателями, но главным источником тепла, согревавшего наши отношения, были, конечно, не эти семейные обстоятельства, а живой нрав, душевная открытость, замечательно сочетавшаяся с воспитанностью, искренность Жюстины, как мы, — разумеется, за глаза, — фамильярно-любовно называли ее. Жюстина Севериновна была француженкой, она выросла и училась в Москве, а фамилию получила от мужа, академика М. М. Покровского. В те годы, о которых я рассказываю, она уже была вдовой, немолодой женщиной, но в ее манерах, особенно в манере говорить, в быстрой, но четкой речи, где слова словно бы слиты в блоки, сохранялось, при всей московской чистоте произношения, что-то неопределимо французское. Это неопределимо французское, идущее, наверное, от глубокой старины, от времен еще, может быть, кровопролитной вражды между Англией и Фран-

цией, позабавило меня и в одной ее реплике, которая потому, вероятно, и запомнилась, что в ее снисходительной насмешливости мелькнула Франция.

Урок греческого проходил в клетушке, отделенной от соседней клетушки фанерной перегородкой, за которой шел урок английского языка. Фанера не создавала акустической изоляции, а у англичанки был зычный голос, и, устав от борьбы с ним, Жюстина Севериновна, пожав плечами, развела руки, подмигнула нам и сказала:

— Давайте помолчим, подождем, пока она не проглотит все свои гласные, а потом продолжим.

На мысль о Франции меня наводила и внешность Ж. С. Я знаю, что наши суждения о сходстве или несходстве человеческих лиц очень субъективны, как и вообще наши ассоциации. Может быть, я ошибаюсь, но ее лицо почему-то всегда напоминало мне портрет Анатоля Франса, еще не старого, не седого. По разрезу глаз, по форме носа она могла бы сойти за его близкую родственницу. Как-то перед началом урока она с волнением и юмором рассказала нам о происшествии, только что случившемся с нею в вагоне трамвая. Она ехала вместе со своей старой матерью, и говорили они между собой, как всегда, по-французски. Кто-то из пассажиров сделал им замечание: мол, в общественном транспорте следует говорить по-русски. Ж. С. возразила, что в России (она так и сказала — «в России», не в «Советском Союзе») нет такого закона, который запрещал бы говорить по-французски в трамвае. Ей ответили:

— Знаем мы, что это за французский.

Ее высказывания на темы дня (замечу: во второй половине сороковых годов) вообще отличались прямотой, но в прямоте Жюстины не было ни тени щегольства смелостью, ни того, что позже называлось диссидентством, в ней чувствовались природный либерализм, непоколебимая вера в здравый смысл, мешающая видеть враждебную здравому смыслу реальность, грубо говоря — отсталость от времени, отсталость, которая в одних случаях раздражает, а в других, наоборот, вызывает сочувствие.

— Молодежь стала ужасно аполитична, — говорила Ж. С. с отчетливым, хотя и безударным «о» в последнем слове. — Никто ничего не обсуждает, все как воды в рот набрали. Вот мы в свое время без конца спорили: Каутский, Бернштейн, Эрфуртская программа...

Это я слышал от нее своими ушами поздней осенью 1946 года, в присутствии всей нашей группы, человек десяти.

О другом выразительном свидетельстве отставания Ж. С. от времени я слышал от участников заседания кафедры, на котором разбирали проступок студента, не посещавшего занятий по военному делу и подлежавшего за это чуть ли не исключению.

Студент был способный, увлеченный античностью мальчик, и дело в конце концов, слава богу, уладили. Искренне желая помочь провинившемуся, подсказать ему убедительное для зачинщиков «персонального дела» объяснение своей нерадивости, Жюстина Севериновна, торжествуя сверкнув глазами, воскликнула:

— Скажите, Гай, может быть, вы пацифист?!

И надо же было судьбе сделать ее тещей собственного студента. Додик П. был в одной со мной группе, и на уроке мы часто сидели рядом. Он хронически страдал от недосыпания. До женитьбы он ежевечерне провожал Наташу в Хамовники и, бывало, не успевал вернуться домой до наступления не отмененного еще комендантского часа. Его задерживали, и остаток ночи он часто проводил в милицейском участке. Поэтому на уроках он то и дело задремывал. Мы читали каждый по куску «Одиссеи», переводили, комментировали, а Радциг задавал нам вопросы, поправлял и дополнял наши ответы. Однажды Сергей Иванович вызвал Додика, но тот не отозвался. Прекрасно видя, что студент спит, профессор невозмутимо, но чуть громче, чем обычно, сказал:

— Ободритесь, товарищ П.!

Товарищ П. не внял, я тихо толкнул его в бок, он встрепенулся и, шепнув мне: «Никто не заметил, что я заснул?», принялся с грехом пополам читать свою порцию. Он и вообще-то не блистал в науках и был в этом отношении антиподом злосчастливого «паци-